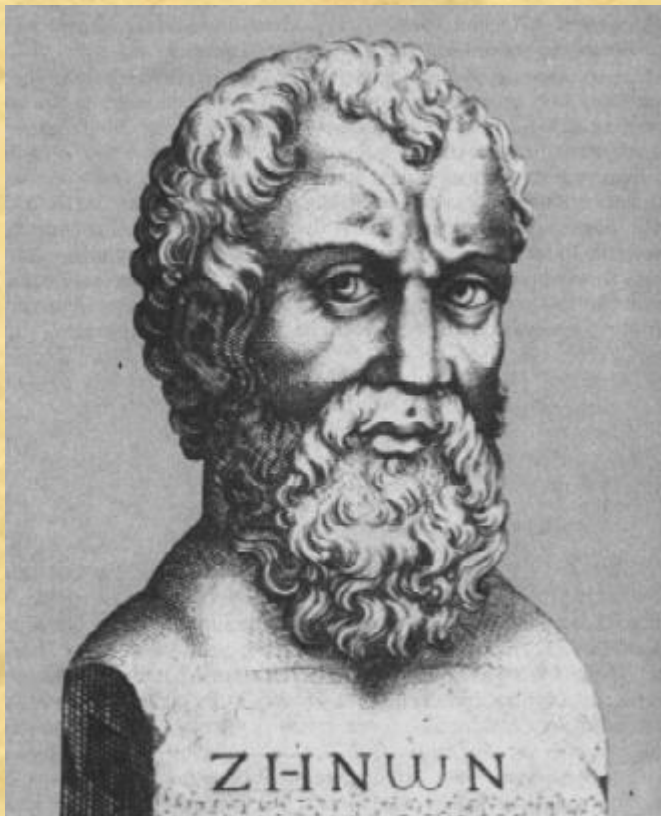


Марк Туллий Цицерон

ПАРАДОКСЫ СТОИКОВ**ВСТУПЛЕНИЕ**

Я обратил внимание, Брут, что дядюшка твой, Катон, выступая в сенате, часто касается серьезных философских положений, совершенно незнакомых нашим судебным и политическим речам, и, однако, удается ему сделать понятными их даже простому народу. Это тем более замечательно в его устах в сравнении с тобою или мною: ведь мы-то отдаем предпочтение той философии, которая представляет обильный материал для оратора и касается тех вопросов, которые весьма близки пониманию толпы. Катон же, по моему убеждению, законченный стоик и высказывает мнения, далеко не всегда разделяемые толпой, и придерживаясь направления в философии, отвергающего любые риторические прикрасы, не стремится к развернутому изложению, а старается достичь своей цели с помощью как бы пунктирного ряда из мелких и кратких положений. Но нет ничего столь

невероятного, во что не заставила бы поверить человеческая речь, нет ничего столь грубого и ужасного, что не смогло бы засверкать, отполированное и отделанное ораторской речью. Эти соображения побудили меня поступить еще более дерзко, чем тот, о ком я говорю. Ведь Катон рассуждает обычно в духе стоиков о величии духа, о самоограничении, о смерти, о всевозможных достохвальных проявлениях добродетели, о бессмертных богах, о любви к родине, не отказываясь и от ораторских украшений. Я же в шутку сформулировал в виде общих мест все то, о чем едва ли рассуждают стоики даже в гимназиях или на досуге, и мне захотелось попытаться вывести на свет, то есть применить на форуме эти мысли, которые в силу своей удивительности и полной противоположности общепринятым мнениям самими же стоиками называются парадоксами, и изложить их так, что они будут понятны всем, если только речь, обращенная к людям образованным, не совершенно отлична от речи, с которой следует обращаться к простому народу. Я с тем большим удовольствием изложил эти «общие места», что мне самому эти так называемые парадоксы представляются в высшей степени сократическими и совершенно правильными. А поэтому прими сей малый труд, плод ночей, становящихся все короче, ибо дар, рожденный более длительными бдениями, уже вышел в свет и посвящен тебе. И ты сможешь познакомиться с тем видом моих упражнений, к которым я всегда прибегаю, пытаюсь применить к нашей ораторской практике то, что в школах

называют *θητικά*. Но я отнюдь не требую, чтобы ты принял этот подарок и сохранил его. Он ведь не такого рода, чтобы помещать его в Акрополе как Минерву Фидия, однако же таков, что видно, что вышел он из той же мастерской.

ПАРАДОКС ПЕРВЫЙ

Только прекрасное является благом

1. Только то является благом, что нравственно. Боюсь, что кому-нибудь из вас слова мои могут показаться заимствованными из рассуждений стоиков, а не результатом моих собственных размышлений. Тем не менее я скажу то, что думаю. И скажу короче, чем того требует столь важный предмет. Клянусь богами, никогда не относил я к понятию блага и к желаемому ни их деньги, ни великолепные здания, ни могущество, ни власть, ни наслаждения, которые им особенно дороги, ибо я видел, что люди, купающиеся во всем этом, все же всего более жаждут того, чем они в изобилии обладают.

Ведь жажда обладания никогда не утоляется, и люди мучаются не только страстью к приумножению того, чем они владеют, но и страхом потерять это. И тут я часто пытаюсь понять, было ли мудрым со стороны наших предков, людей исключительно скромных, назвать словом «благо» такие ненадежные и непрочные вещи, как деньги, тогда как в действительности они судили об этом предмете совершенно иначе. Может ли благо служить кому-нибудь во зло, или может ли кто-нибудь, в изобилии обладающий благами, сам быть дурным? Как мы видим, все эти «блага» таковы, что являются достоянием и негодяев и могут приносить вред порядочным людям, а посему пусть смеется надо мной тот, кому это нравится, но для меня важнее будет не мнение толпы, а истина, и я никогда не скажу, что тот, кто потерял свое стадо или свое имущество, утратил «благо», и не перестану восхвалять мудрость Бианта, причисляемого, если не ошибаюсь, к знаменитой семерке мудрецов, который, когда его родная Триена была захвачена врагом и все жители бежали, захватив с собой чуть ли не все свое имущество, на обращенный к нему чей-то совет поступить таким же образом, ответил: «А я так и поступаю, потому что все свое ношу с собой». Он даже не считал своей собственностью все эти игрушки, которые дарит нам судьба и которые мы называем «благом».

Так что же такое «благо», спросит кто-нибудь? Если что-то совершается правильно и достойно, если в этом проявляется добродетель, то это поистине можно назвать благом деянием. И то, что является правильным, достойным и добродетельным, только это и является, полагаю, благом.

2. Но эти мысли могут показаться несколько неясными в общих рассуждениях, они должны быть раскрыты на жизнеописаниях великих мужей, ибо без этого, как мне кажется, они становятся уж слишком непонятными. Я спрашиваю вас, неужто те, кто оставил нам это государство столь славным и мощным, когда-нибудь помышляли о золоте и серебре, о том, чтобы разбогатеть, о красотах природы, которые могли бы доставить им удовольствие, или о всяческой утвари, улаждающей их взор, или о пирах, приносящих им наслаждение? Представьте своему взору любого из царей. Начнем, если хотите, с Ромула или, наоборот, с тех, кто освободил родину от этих царей? По каким ступеням, в конце концов, поднялся на небо Ромул? По тем ли, которые толпа называет «благами», или по ступеням славных деяний и добродетелей? А Нума Помпилий? Неужто мы думаем, что бессмертным богам были менее угодны жертвенные чаши и глиняные кружки, чем чеканные драгоценные бокалы иных? Я не стану говорить об остальных, ибо все они таковы, за исключением Тарквиния Гордого.

А если бы кто-нибудь спросил Брута, к чему он стремился, освобождая родину, если бы кто-нибудь подобным же образом спросил всех других участников этого подвига, чего желают они, чего хотели достичь, неужто найдется хоть один, кто скажет, что стремился к

наслаждению, богатству или вообще к чему-то иному, кроме исполнения долга, стоящего перед мужественным и великим человеком? Что толкнуло Гая Муция на убийство Порценны, когда не было ни малейшей надежды на спасение? Какая сила удержала Коклеса на мосту, одного против целых полчищ врагов? Какая сила побудила отца и сына Дециев пожертвовать жизнью, бросившись в гущу вооруженных врагов? Какую выгоду преследовали скромность Гая Фабриция или бедность Манья Курия? А что сказать нам о достойном оплоте нашем в Пунической войне, о Гнее и Публии Сципионах, которые телом своим решили преградить путь карфагенянам? А старший, а младший из Сципионов Африканских, а Катон, живший в промежутке между ними, а бесчисленное множество других, ибо таких примеров в нашей стране великое множество? Разве считали они, что в своей жизни должны стремиться к чему-то еще, кроме того, что почитается достохвальным и прекрасным?

3. Так пусть же явятся сюда все те, кто смеются над моими словами и мыслями, и пусть сами решат, на кого они хотели бы быть похожими: на кого-нибудь из тех, кто живет в мраморных дворцах, сверкающих золотом и слоновой костью, украшенных в изобилии статуями и картинами, чеканным золотом, коринфскими вазами, или же на Фабриция, который никогда и не имел и не желал иметь ничего подобного. Что касается такого рода вещей, которые могут переходить от одного к другому владельцу, то нетрудно убедить людей не считать их благом, но за убеждения, что наслаждение является высшим благом, они держатся крепко и отстаивают всеми силами. Мне же это убеждение представляется достойным не людей, а скотов. Ведь когда тебе богом ли или природой, которую я назвал бы матерью всего сущего, дарован дух, прекраснее и божественнее которого не существует ничего, ты сам так унижаешь и уничтожаешь себя, полагая, будто между тобою и четвероногой тварью нет никакой разницы! Разве может существовать благо, которое не делает лучшим того, кто им обладает? Ведь к чем большему благу приобщается кто-то, тем большей славы оказывается он достоин, ибо не существует блага, которым бы не мог достойно гордиться тот, кто им обладает.

Так какое же благо в удовольствии? Может быть, оно делает человека лучшим или более достохвальным? Или кто-нибудь, достигнув удовольствия, может гордиться и громко хвастаться тем, чего он достиг? Но если наслаждение, на защиту которого встает столько адвокатов, не должно быть причислено к категории блага, если оно, чем оно больше, тем сильнее нарушает привычное спокойствие духа, то, конечно, счастливая жизнь есть не что иное, как жизнь достойная и нравственная.

ПАРАДОКС ВТОРОЙ

Добродетель самодостаточна для достижения счастья

Я никогда не считал М. Регула ни страдальцем, ни несчастным, ни жалким. Ведь не величие его духа пытали пунийцы, не его достоинство, не верность, не твердость, не какую-то добродетель, не, наконец, самый дух его, ибо под охраною столь многочисленной и столь мощной свиты добродетелей сам он не мог, конечно, быть пленен, хотя тело его и находилось в руках врагов. Мы знаем и Гая Мария, который представляется мне в счастья одним из счастливейших людей, а в несчастья одним из величайших. А может ли быть большее счастье для смертного? Не знаешь ты, безумец, не знаешь, сколь великой мощью обладает добродетель. Ты знаешь лишь имя ее, мощь же ее тебе неведома. Никто не может не быть счастливейшим человеком, если он полностью доверяет себе и только в самом себе видит всю свою силу. Тот, кто все надежды свои, все расчеты и помыслы возлагает на счастье, не может обладать ничем определенным, ничем, в чем он был бы уверен, что сохранит хотя бы на один день. Вот такого человека, если ты встретишь его, можешь пугать угрозою смерти или изгнания. Я же, случись со мной что-нибудь в столь неблагоприятном государстве, приму все без всяких возражений, не говоря уже о сопротивлении. Для чего же тогда я страдал или делал

что-то, к чему были неусыпные мои заботы, если я не создал ничего такого, не достиг ничего, что помогло бы мне не страшиться ни капризов судьбы, ни несправедливости друзей? И ты угрожаешь мне смертью, которая вынудит меня покинуть вообще всех людей, или изгнанием, которое избавит меня от негодяев? Смерть страшна тем, кто вместе с жизнью теряет решительно все, но не тем, чья слава умереть не может; изгнание страшно для тех, кто как бы огородил для себя место, где должен жить, но не для тех, кто считает весь мир единым градом. Тебя, полагающего себя счастливым и процветающим, преследуют несчастья и страдания, тебя терзают твои страсти, дни и ночи ты мучаешься, ибо тебе недостаточно того, чем ты владеешь, да и это ты боишься вскоре потерять; сознание твоих преступлений подстегивает тебя, и дух твой замирает от страха перед законами и судом, и куда бы ты ни оглянулся, повсюду перед тобой, как фурии, встают твои злодеяния и не позволяют тебе вздохнуть спокойно. А поэтому точно так же, как не может быть счастливым ни один негодяй, глупец или бездельник, так и добрый, сильный и мудрый человек не может быть несчастным. И не может не быть достохвальной жизнь того, чьи добродетели и нравы достохвальны, и, следовательно, не должно бежать от такого рода жизни. Это нужно было бы делать, будь она несчастна. А посему все достохвальное должно рассматриваться как благое, процветающее и желанное.

ПАРАДОКС ТРЕТИЙ

И преступные, и праведные деяния равны

1. Он говорит: «Это пустяк». Но вина-то велика. Ведь проступки следует измерять не их результатом, а человеческими пороками. Сам по себе неправедный поступок может быть больше или меньше, сам же факт преступления с любой точки зрения един. Опрокинет ли кормчий корабль, нагруженный золотом или соломой, если говорить о грузе, то какая-то разница здесь есть, но с точки зрения самого умения кормчего это совершенно безразлично. Если жертвой похоти стала женщина незнатная, то страдает от этого меньше людей, чем если бы то же самое случилось со знатной и благородной девицей. Но проступок-то тем не менее совершен, если понимать под проступком переход некоей границы, который, будучи однажды совершен, и означает совершение преступления, а как далеко ты пройдешь за эту границу, которую ты преступил однажды, не имеет никакого значения для оценки размеров преступления. Во всяком случае, конечно, никому не дозволено совершать преступления, а то, что не дозволено, сводится к одному — не дозволено. И если недозволенное не может стать ни больше, ни меньше, ибо проступок состоит именно в нарушении дозволенного, а это нарушение всегда остается таковым, то вытекающие из этого проступки должны рассматриваться как равные. Ведь если добродетели равны между собой, то необходимо, чтобы и пороки были равны, а то, что добродетели равны между собой, и не может быть человека более добродетельного, чем человек добродетельный, более мужественного, чем мужественный, и более мудрого, чем мудрый, можно очень легко заметить. Разве ты назовешь порядочным человека, который возвратит доверенные ему без свидетелей десять фунтов золота, хотя он безнаказанно мог бы их присвоить, а десять тысяч не возвратит? Или, можно ли назвать воздержанным человека, который какую-то страсть способен преодолеть, а в другой не знает никаких границ? Одна только добродетель находится в согласии с разумом, стойкостью и постоянством. К ней нельзя прибавить что-нибудь, дабы она стала большей добродетелью, и нельзя что-либо отнять без того, чтобы она перестала быть добродетелью. Ведь если добрые деяния есть деяния правильные, а ничто не может быть прямее прямого, то, конечно же, не может быть ничего лучше блага. Отсюда, таким образом, следует, что и пороки равны между собой. Если, впрочем, некие отклонения духа [справедливо] называются пороками. Но поскольку добродетели равны, то и добродетельные деяния, так как они вытекают из добродетелей, должны быть равны, и точно так же и проступки, вытекающие из пороков, должны быть неизбежно равными.

2. «Ну, это у тебя от философов», — скажет он. А я боялся, что ты скажешь — от сводников. «Ведь подобным образом рассуждал Сократ». Это ты хорошо сказал, ей-богу! Ведь известно, что это был ученый и мудрый человек, однако я спрошу у тебя — благо мы сражаемся с тобой на словах, а не на кулаках: когда мы говорим о благе, чьим мнением должны мы руководствоваться — мнением грузчиков и чернорабочих или мнением людей наиболее образованных? Тем более что едва ли можно найти что-нибудь не только более верное, чем это утверждение, но и более полезное для жизни людей. Действительно, какая сила способна лучше удержать людей от всякого бесчестного поступка, чем убеждение в том, что нет никакого различия в проступках? Что они совершают равное преступление, нападая на человека частного и на облеченного государственными полномочиями, и в какой бы семье ни совершили бы они прелюбодеяние, похоть их одинаково постыдна.

«Так что же, — скажет кто-нибудь, — нет никакой разницы, убьешь ли ты отца или раба?» Если вопрос поставить в столь общем виде, то не так-то легко дать ответ на это. Если лишение жизни отца является само по себе преступлением, то сагунтинцы, которые предпочли, чтобы их родители умерли свободными, а не остались жить рабами, были отцеубийцы, следовательно, иногда можно лишиться жизни родителя, не совершая при этом преступления, и часто нельзя убить и раба, не совершив беззакония. Следовательно, дело здесь не в природе злодеяния, а в его причине, которая в соединении с тем или иным действием придает ему вес. Если же оба варианта имеют каждый свою причину, тогда они по необходимости равны. Разница только в том, что, убивая раба, если это совершается несправедливо, человек совершает лишь один проступок, в покушении же на жизнь отца заключается сразу много проступков, ибо подвергается насилию тот, кто породил, кто вскормил, кто дал образование, кто дал прибежище, дом, гражданство. И совершив больше преступлений, он оказывается достойным большего наказания, но мы-то должны думать не о том, какому преступлению подобает какое наказание, но о том, что дозволено каждому. «Даже в самом малом?» — Даже. Ведь даже если мы не можем представить меру в деяниях, мы можем все же сохранять меру в нашем сознании. Если актер хотя бы чуть-чуть нарушит ритм в своих движениях или произнесет стих, ошибившись в краткости или долготе хотя бы одного слога, он будет освистан или ошикан, а в жизни, которая требует больше меры, чем любое движение, которая должна быть слаженнее любого стиха, ты полагаешь возможным допустить ошибку хотя бы в едином слоге? Я не позволяю делать это поэту в его пустяковом занятии, а позволю гражданину на слух измерять свои ошибки, касающиеся всего нашего жизненного сообщества? И если они окажутся не столь большими, могут ли они оказаться более простительными? Поскольку всякая ошибка состоит в нарушении смысла (*ratio*) и порядка, то если однажды спутан смысл и нарушен порядок, то уже ничто не сделает этот проступок в глазах людей большим.

ПАРАДОКС ЧЕТВЕРТЫЙ

Всякий глупец безумен

1. А я не считаю тебя глупцом, как это говорил не раз, ни бессовестным, что и всегда полагал, но безумцем и сумасшедшим... [И чтобы] дух мудреца, защищенный, как крепостными стенами, величию помыслов, стойкостью в делах человеческих, презрением к богатству, наконец, вообще всеми добродетелями, был побежден и покорен, дух, который даже нельзя изгнать из государства? Действительно, что такое государство? Любое собрание жестоких и страшных людей? Любая толпа беглых рабов и разбойников, собравшихся в одно место? Ты, конечно, не согласишься с этим, значит, и тогда это не было государством, когда законы потеряли в нем всякую силу, когда суды были повержены, когда пали обычаи предков, когда магистраты были изгнаны силою оружия и даже самое имя сената исчезло из государственной жизни. Это стечение грабителей, этот разбой, творимый на форуме под твоим предводительством, эти останки заговора Катилины, его безумная ярость,

превратившаяся в твою, в твои преступления, это не было государством, поэтому я не был изгнан из государства, ибо тогда его просто не существовало, но был призван в государство, ибо теперь в нем был консул, которого до того времени вообще не было, был сенат, который перед тем был повержен, было согласие свободного народа, было установлено уважение к праву и справедливости, к этим основаниям и скрепам государства. Так любуйся же, как презираю я твои разбойничьи стрелы. Я всегда признавал, что ты бросил в меня нечестивое копье своих беззаконий, но никогда не считал, что оно попало в меня, если только ты не думаешь, что рушилось и пылало что-нибудь из принадлежащего мне, когда ты крушил стены дома и бросал на его крышу свои проклятые факелы. Ничто из того, что может быть отнято, отобрано, потеряно, не принадлежит ни мне, ни кому бы то ни было другому. Если бы ты отнял у меня божественную стойкость моего духа, мои неусыпные помыслы и заботы, благодаря которым существует ныне государство, несмотря на все твое сопротивление, если бы ты уничтожил неумирающую память об этом бессмертном моем благодеянии, более того, если бы ты вырвал у меня сей дух, из которого проистекали эти решения, то тогда бы я согласился, что ты нанес мне обиду; ну а если ты этого не сделал, да и не мог сделать, то и беззакония твои принесли мне не горестное изгнание, а славное признание. Ибо я всегда оставался гражданином, а тем более тогда, когда сенат поручил чужим народам заботу о моей безопасности как гражданина наидостойнейшего; ты же и теперь не гражданин, потому что едва ли возможно быть одновременно и врагом родины, и гражданином. Или, может быть, ты думаешь, что гражданин отличается от врага своей природою и местом жительства, а не складом мыслей и поступками?

2. Ты устроил резню на форуме, ты со своими вооруженными разбойниками захватил храмы, ты поджигал и дома граждан, и священные сооружения, так почему же Спартак враг, а ты гражданин? И ты можешь оставаться гражданином, ты, из-за которого наше государство однажды уже погибло? И ты можешь называть меня именем, которое подобает тебе, хотя все убеждены, что вместе со мною и само государство ушло в изгнание? Так значит, никогда ты, безумец из безумцев, не оглянешься, никогда не задумаешься над тем, что ты творишь, что говоришь? Разве ты не знаешь, что изгнание есть наказание за преступление, мой же отъезд явился результатом прекраснейших деяний, совершенных мной? Все негодяи и нечестивцы, чьим предводителем ты объявляешь себя, кого законы готовы объявить изгнанниками, уже изгнанники, даже если они никуда и не уходили. Так что же, если все законы требуют признать тебя изгнанником, ты не станешь им? Разве не объявляют врагом того, кто взялся за оружие? (Но прямо перед сенатом выхватили из рук твоих кинжал.) Того, кто убил человека? (Но ты убил многих.) Того, кто устраивал поджоги? (Но храм нимф запылал, подожженный твоею рукой.) Того, кто захватил храмы? (Но ты на форуме разбил свой лагерь.) Однако зачем ссылаюсь я на общие законы, по каждому из которых ты должен быть объявлен изгнанником? Твой ближайший друг внес специальный закон о том, что если ты появишься на таинствах Доброй Богини, то отправишься в изгнание. Ты не только сделал это, но и не перестаешь гордиться этим. Каким же образом осужденный на изгнание по стольким законам, ты не страшишься быть объявленным изгнанником? «А я в Риме», — говоришь ты. — Но ты все же присутствовал на таинствах. А от того, что кто-то будет находиться в каком-то месте, он не обретет *права* быть там (*ius eius loci*), если законами ему этого не положено.

ПАРАДОКС ПЯТЫЙ

Только мудрец свободен

1. Всякий глупец раб. Пусть прославляют этого полководца и даже величают его таким образом, считая достойным сего имени, но каким же образом и какому свободному человеку будет он повелевать, если сам он не способен повелевать своим страстям?

Пусть обуздает сначала страсть, забудет о наслаждениях, сдержит гневливость, обуздает корыстолюбие, отбросит остальные слабости духа, а уж тогда начинает повелевать другим, когда сам перестанет повиноваться недостойнейшим владыкам, позору и гнусности. А до тех пор, пока будет он им повиноваться, не должен будет считаться не только повелителем, но и вообще свободным, ведь об этом прекрасно было сказано весьма учеными людьми, чьим авторитетом я не стал бы пользоваться, если бы мне пришлось сейчас говорить перед людьми необразованными: поскольку же я имею дело с весьма культурными людьми, для которых все это отнюдь не является чем-то неслыханным, то зачем мне притворяться, будто я зря потратил те усилия, которые посвятил этим занятиям? Так вот, эти весьма ученые мужи утверждают, что никто, кроме мудреца, не свободен. Действительно, что такое свобода? Возможность жить так, как хочешь. Кто же живет так, как хочет, если не тот, кто идет по правильному пути, кто с радостью исполняет свой долг, чья жизненная дорога обдумана и ясна наперед, кто повинуется законам не из страха, но следует им и чтит их, ибо считает это абсолютно необходимым для блага государства, кто ничего не говорит, ничего не делает, ничего, наконец, не думает, чего бы он не хотел и от чего бы не получал удовольствия, чьи мысли и дела, им совершаемые, исходили бы от него самого и с ним бы сообразовывались, для которого не существует ничего более важного, чем его собственная воля и суждения, перед кем отступала бы даже сама фортуна, которая, говорят, обладает великой силой, или, как сказал мудрый поэт, — «доля каждого творится его собственным нравом»? Только мудрецу дано не делать ничего против собственного желания, ничего, что было бы ему неприятно, ничего, к чему бы его вынуждали. И хотя об этом следовало бы говорить более пространно, это можно резюмировать и очень коротко: никто не свободен, не имея подобных качеств. Следовательно, все дурные люди — рабы, и этот вывод неожидан и удивителен, не столько по существу, сколько по форме (*dictu*). Ведь их называют рабами не в том смысле, как это говорится о рабах, принадлежащих хозяевам в силу охраняемых гражданским правом отношений. Но если рабство есть (а это действительно так) готовность повиноваться, присущая сломленному, униженному, лишенному собственного суждения духу, то кто же будет возражать против того, что все люди, подверженные страстям, легкомысленные, наконец, все непорядочные являются рабами?

2. Или в нашем представлении останется свободным тот, которым повелевает женщина, устанавливая ему свои законы, предписывая, приказывая, запрещая все, что ей угодно? Тот, кто ничего не может возразить на приказания, не осмеливается ни от чего отказаться? Требуют — приходится давать, зовут — приходится являться, прогоняют — приходится уходить, грозят — вынужден страшиться. Я же полагаю, что такого человека нужно называть не просто рабом, но самым негоднейшим из рабов, даже если рожден он в знатнейшем семействе. И подобно тому как среди множества рабов иные представляются себе находящимися в привилегированном положении, хотя они так и остаются рабами, точно так же ничем не отличаются от них по своей глупости те, кто приходит в несказанный восторг от статуй, картин, чеканного серебра, коринфских ваз, роскошных строений. «Но ведь мы — первые люди в государстве!» — Как бы не так! Даже среди рабов ваших вы далеко не первые! Но как среди рабов те, которые протирают, умащают, подметают, моют, занимают отнюдь не самое высокое положение, так и среди граждан те, кто отдается во власть увлечения такого рода вещами, выглядят как едва ли не самые ничтожные из рабов. «Я, — говорит он, — вел великие войны, обладал огромной властью, управлял большими провинциями!» — Так управляй своим духом, делай его достохвальным! А ты стоишь в изумлении перед картиной Эйхиона или какой-нибудь статуей Поликлета, я уж не спрашиваю, где ты ее взял и по какому праву владеешь. И когда я вижу, как ты любишь всем этим, издавая возгласы восхищения, я признаю тебя рабом всей этой чепухи. «Но разве же это не очаровательно?» — Допустим, ведь мы тоже обладаем неплохим вкусом, но, ради богов, пусть это будет прекрасным, но не становится оковами для взрослых людей, оставаясь лишь ребяческим развлечением. Как ты думаешь, если бы Л. Муммий увидел одного из этих людей любовно рассматривающим

коринфский горшок (а сам он пренебрег целым Коринфом), как бы назвал он его — прекрасным гражданином или прилежным уборщиком? Если бы воскрес сейчас Маний Курий или кто-нибудь из тех, в чьих домах и виллах не было иных украшений, кроме них самих, и увидел бы, как какой-нибудь из этих людей, достигших благодаря расположению народа высокого положения, вытаскивает из бассейна и любит рыбу-краснобородкой, как гордится великим числом мурен, неужели не посчитал бы он такого человека рабом, да и среди рабов-то недостойным никакой важной работы?

А каких только несправедливостей не заставляет переносить надежда на наследство, вынуждая пребывать в рабском служении? Какое только желание бездетного старца не готов он исполнить! Он говорит, что тому угодно, делает все, что тот не прикажет, не отступает от него ни на шаг, дарит подарки. Так что же в этом достойно свободного человека, что не достойно самого ничтожного раба?

3. Ну а эта страсть к почестям, власти, к управлению провинциями, представляющаяся как будто более достойной свободного человека, какая же это жестокая, какая неумолимая, какая властная госпожа! Она заставила рабски подчиняться Цетегу, человеку не самому порядочному, заставила тех, кто сами себе представлялись людьми значительными, посылать ему подарки, являться рано утром домой, обращаться с просьбами, унижаться. Так что же в таком случае рабство, если это может считаться свободой? А когда, наконец, уходит господство страстей, и из сознания совершенных преступлений появляется другой владыка, — страх, какое же это несчастное, какое жестокое рабство! Приходится становиться рабом слишком болтливых мальчишек, да и все, кто хоть что-то может знать, становятся страшными господами. А какую власть приобретает судья! Какой страх внушает он виновному! А разве любой страх не есть рабство? А что означает знаменитая, скорее пространный, чем мудрая, речь красноречивейшего Красса: «Исторгниите нас из рабства!»? Какое же может быть рабство у столь знатного и столь известного человека? Всякий страх, испытываемый душою слабою, униженною и сломленной, есть рабство. «Не допустите, чтобы мы оказались в рабстве у кого-нибудь». Так что же, он хочет звать нас к свободе? Отнюдь. Смотрите-ка, что он говорит дальше: «кроме нас самих». Он предлагает сменить господина, но не хочет быть свободным. «Чьими рабами мы можем и должны быть», — но мы, если только обладаем духом возвышенным, глубоким и защищенным стеною добродетели, и не должны, и не можем. Ты можешь говорить, что ты можешь, раз уж ты можешь, но не говори, что ты должен, ибо никто ничего не должен, кроме как не отвечать постыдным деянием на постыдное. Ну, достаточно об этом. А он пусть сам судит, как удастся ему быть полководцем, когда разум и сама истина убеждают в том, что он даже не является свободным.

ПАРАДОКС ШЕСТОЙ

Только мудрец богат

1. И что это ты так безудержно расхвастался своими богатствами? Только ты один и богат? О, бессмертные боги, разве не доставляет мне удовольствие о чем-то услышать или что-то узнать? Так значит, только ты богат? А что, если ты вовсе не богат, более того, даже если ты беден? Действительно, кого считаем мы богатым и к кому прилагаем это слово? К тому, я полагаю, чье имущество позволяет ему легко удовлетворять все его желания, кто ничего более не ищет, ничего не жаждет, ни к чему не стремится. Ведь это же ум твой, а не человеческая молва и не твои владения, признает тебя богатым, решает, что ему уже всего достаточно, и он не желает ничего больше. Он уже насытился деньгами, он удовлетворен; я согласен — ты богат. Однако, если из жадности к деньгам ты не считаешь для себя позорным любой способ их добывания, хотя для твоего сословия вообще ни один не может быть достойным, если ты каждый день мошенничаешь, обманываешь, выпрашиваешь, договариваешься, отбираешь, вымогаешь, если грабишь союзников, опустошаешь казну, если ждешь завещания твоих

друзей, а иной раз, чтобы не ждать, и сам подделываешь их, о чем говорит все это — о богатстве или о нужде? Говорят, что дух человека богат, а не сундук его, даже если он полон, а я, видя, что ты нищ духом, не назову тебя богатым. Ведь люди меряют богатство тем, насколько каждому достаточно то, что он имеет. У кого-нибудь есть дочь, ему необходимы деньги, а если две — то и больше, если несколько — то еще больше, а если, как говорят, у Даная было 50 дочерей, то какие же деньги потребуются на приданое для стольких невест! Ведь, как я уже сказал, мера богатства соотносится с потребностями каждого, а посему того, кто обременен не множеством дочерей, а бесчисленными страстями, способными за короткое время вычерпать до дна и величайшие богатства, как назову я богатым, если он сам себя ощущает нуждающимся?

Многие слышали твои слова о том, что богат только тот, кто на свои доходы может содержать войско, на что и сам римский народ, располагающий такими огромными податями, уж едва ли способен. Следовательно, исходя из этого, ты никогда не станешь богатым, пока твои владения не принесут тебе такие доходы, что ты сможешь на них содержать шесть легионов и немалые вспомогательные войска, как конные, так и пешие. И вот ты уже согласен, что ты не богат, ибо тебе недостает столь многого для удовлетворения твоих желаний, поэтому тебе и никогда не удавалось скрыть эту бедность или, уж скорее, нужду и нищенство.

2. Ведь если мы понимаем, что те, кто честным путем добывает себе состояние, занимаясь торговлей, предпринимательством, откупам, ищут прибыли, то также и тот, кто видит в твоём доме целые толпы собравшихся вместе и обвиняемых, и судей, опасных, но богатых преступников, надеющихся с твоей помощью подкупить судей, кто знает о твоих гонорарах за защиту в суде, о твоём участии в избирательных сделках и подкупе кандидатов, о посылке вольноотпущенников для управления и разграбления провинций, кто вспомнит об изгнании соседей с их земель, о сообщничестве с клиентами, вольноотпущенниками и рабами, о грабежах в деревне, об опустошенных владениях, о проскрипциях зажиточных людей, об убийствах муниципалов, — об этой жатве сулланских времен, о поддельных завещаниях, об уничтожении такого множества людей, о том, наконец, что все оказывается предметом торга: набор войска, постановления и голоса в сенате, как твой собственный, так и других, дела общественные и частные, слова и молчание, — тот не сможет не думать, что все это является доказательством того, что такому человеку нужна прибыль. А того, кому нужна прибыль, разве когда-нибудь назовут богатым? Ведь результат богатства — это достаток, а о достатке свидетельствует довольство и изобилие, поскольку же ты с презрением относишься к моему достоянию, и это правильно, ибо оно по общепринятым меркам весьма скромное, а на твой взгляд и вообще ничтожное, на мой же — достаточное. Я умолчу о себе, а скажу лишь о существе дела: если бы нам пришлось оценить и определить, что представляется нам более ценным, сокровища ли Пирра, которые он предлагал Фабрицию, или бескорыстие Фабриция, отвергнувшего эти сокровища, золото ли самнитов или ответ Мания Курия, наследство Люция Павла или щедрость Сципиона, отдавшего половину этого наследства своему брату Квинту Максиму, то, конечно же, заключающее в себе высшие добродетели должно быть оценено выше того, что связано с деньгами; поэтому, если считать, что человек тем богаче, чем ценнее то, чем он обладает, кто бы стал сомневаться, что богатство заключено в добродетели? Ибо никакое золото и серебро не стоит больше, чем добродетель.

3. О, бессмертные боги, люди не понимают, какую огромную прибыль приносит бережливость! Я буду говорить сейчас о тех, кто не заботится о расходах (оставив в покое этого корыстолюбца). Иной получает от своего поместья 600 тысяч сестерциев, а я — сто со своего; ему, устраивающему на своих виллах позолоченные крыши и мраморные столы, беспрерывно жаждущему новых статуй, картин, посуды и одежд, этого дохода недостаточно не только на расходы, но даже на уплату процентов, а из моего скромного дохода, даже за вычетом некоторых расходов на удовольствия, всегда еще что-то и остается. Так кто из нас

богаче, кому не хватает, или у кого избыток? Тот ли, чье имущество, чем оно становится больше, тем больше требует для своего поддержания, или тот, чье имущество самодостаточно? Однако зачем я говорю о себе, ведь в силу недостатков наших нравов и нашего времени я и сам в какой-то мере, пожалуй, не свободен от заблуждений нашего века. Ведь Маний Манилий, живший во времена наших отцов, чтобы не говорить беспрестанно о Куриях и Лускинах, тоже был беден. У него был маленький домик в Каринах и имение в Лабикане. Так что же, мы, владея большим имуществом, богаче его? Если бы! Ведь не имущественным цензом, а образом жизни определяется мера богатства. Не желать многого — уже богатство, не покупать многого — уже прибыль, а быть довольным тем, что имеешь, — это самое большое и самое надежное богатство. Если эти хитроумные ценители имущества особенно высоко ставят луга и прочие земельные угодья, полагая, что это наиболее надежный вид владений, то как же высоко должна цениться добродетель, которую невозможно отнять или похитить, которая не гибнет ни от кораблекрушений, ни от пожара, ни под натиском бурь, ни от превратностей времени! Только те, кто обладает ею, богаты. Ибо только они владеют вещью плодотворной и неизменной и только они довольны своим достоянием, а ведь именно это дает богатство. Только они считают достаточным то, что имеют, ничего не жаждут, ни в чем не нуждаются, не ощущают ни в чем недостатка, ничего не ищут. Люди же негодные и жадные, поскольку все, чем они владеют, ненадежно и зависит от случайностей, они всегда жаждут большего, и не найдется среди них ни одного, кому было бы достаточно того, чем он обладает, — не только не могут считаться богатыми и обеспеченными, но, наоборот, их следует считать неимущими бедняками.